

**НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ  
И ХРИСТИАНСТВО**

---

## 1.

Религия — одно из самых важных дел нашей жизни. Уже детьми мы учимся лепетать молитвы, обращенные к божеству, нам складывают ручки, чтобы мы воздевали их к возвышенному существу, в нашу память входит целое собрание тогда непонятных еще фраз — для будущей пользы и утешения в нашей жизни.

Когда мы становимся старше, занятия религией заполняют большую часть нашей жизни, во всяком случае у многих весь круг их мыслей и склонностей связан с *религией*, как окружность колеса с осью. Мы освящаем помимо других ее праздников первый день каждой недели, который нам с юных лет является в более красивом, праздничном свете, нежели все другие дни. Мы видим вокруг себя особый класс людей, который определен исключительно для служения религии. Ко всем важным событиям в жизни людей, поступкам, от которых зависит их личное счастье, наконец, к рождению, браку, смерти и похоронам примешивается что-то религиозное<sup>1</sup>.

Задумывается ли человек, когда он становится старше, о природе и качествах Существа, в частности об отношении мира к этому Существо, на которое направлены все его чувства? Человеческая природа устроена так, что то, что в учении о боге есть практического, что может стать побудительной причиной поступков, источником постижения обязанностей и

источником утешения, довольно скоро предлагает себя непорочному человеческому сознанию — и представление об этом дает нам обучение с юности. Все то внешнее, что имеет к этому отношение и что производит на нас впечатление, принадлежит к разряду вещей, привитых естественной потребности человеческого духа — часто непосредственно, но слишком часто, увы, опирающихся на связи, созданные совершенно произвольно, не имеющие основы ни в природе души, ни в истинах, создающихся и развивающихся из самих понятий...<sup>2</sup>

...человеческой жизни в движении. Благородное требование разума к человечеству, правомерность которого мы так часто признаем всем сердцем, когда оно им исполнено, и заманчивые описания, порождаемые чистой, прекрасной фантазией невинного или умудренного [жизнью] человека, никогда не должны овладевать нами настолько, чтобы мы надеялись найти многое из этого в действительном мире, верили, что можно создать или увидеть в действительности, здесь или там, это прекрасное видение; тогда недовольство тем, что мы находим, угрюмое настроение все реже будет затуманивать наше сознание. Таким образом, нас не должно пугать — если мы вынуждены так считать, — что чувственность есть главный элемент всякого действия и стремления человека; как трудно распознать, является ли определяющей основой воли чистый ум или действительная моральность! Удовлетворение стремления к счастью, полагаемого в качестве высшей цели жизни, по внешнему виду породит, вероятно, — лишь бы при этом уметь все как следует рассчитать — такое же действие, как если бы наши волеизъявления определял закон разума. Точно так же в системе морали чистая моральность должна *in abstracto* отделяться от чувственности, как бы ни подчинена была здесь последняя первой, — при рассмотрении человека вообще и его жизни мы должны преимущественно принимать во внимание его чувственность, его зависимость от внешней и внутренней природы — от того, что его окружает и в чем он живет, — а также от чувственных склонностей и от слепого инстинкта; природа человека как бы только бременеет идеями разума, подобно тому, как кушанье

пропитано солью, — но, если кушанье хорошо приготовлено, нигде не должно быть видно крупиц соли, сообщающей, однако, вкус свой всему блюду, — или подобно тому, как свет пронизывает все, все наполняет, оказывает свое влияние на всю природу, но не может быть представлен в качестве субстанции и тем не менее сообщает предметам их образ, преломляясь в каждом по-разному, производя из растений целительный воздух, — так же идеи разума оживляют всю ткань его ощущений, так благодаря влиянию идей представит перед ним поступок в некоем особенном свете; сами они редко обнаруживают себя в своем существе, но их действие пронизывает тем не менее все, подобно некоей тонкой материи и придает каждой склонности и каждому стремлению особую окраску.

В самом понятии религии заключается то, что она есть не просто знание о боге, о его качествах, нашем отношении и отношении мира к нему, а также нетленности нашей души (это было бы с грехом пополам воспринято нами с помощью только разума или стало бы известно другим путем), она не есть просто историческое или рассудочное знание, в ней заинтересовано сердце, она имеет влияние на наши чувства и на определение нашей воли, отчасти в силу того, что благодаря ей наши обязанности и законы приобретают большую силу, будучи представлены нам как законы бога, отчасти в силу того, что представление о возвышенности и доброте бога по отношению к нам наполняет наше сердце восхищением и чувствами смирения и благодарности.

Таким образом, религия поднимает моральность и ее мотивы на новую, более величественную высоту, она создает новую, более могучую преграду против силы чувственных побуждений. У чувственного человека религия также является чувственной — религиозные побудительные причины к добрым поступкам должны быть чувственными, чтобы они могли действовать на чувственность; конечно, при этом они обычно до некоторой степени теряют в своем достоинстве как моральные побудительные причины, но тем самым они приобретают столь человеческий вид, столь плотно

примыкают к нашим чувствам, что мы, увлеченные нашим сердцем и польщенные красивой фантазией, часто легко забываем, что холодный разум порицает такие образные представления или даже вовсе запрещает говорить о них.

Когда говорят о публичной религии, то при этом имеют в виду понятия бога и бессмертия и то, что имеет к этому отношение, поскольку они составляют убеждение народа, поскольку они имеют влияние на его дела и мысли. Далее, к публичной религии относятся также средства, с помощью которых, с одной стороны, народ обучается этим идеям, а с другой — они делаются способными проникать в сердце. Под этим понимается не только непосредственное действие: я не верую, потому что бог запрещает это, — особенно должны быть приняты во внимание и зачастую расцениваться как самые важные более отдаленные действия. Именно они главным образом возвышают и облагораживают дух нации, пробуждая в ее душе так часто дремлющее чувство достоинства, не позволяя народу унижаться и унижать, чтобы он не только чувствовал себя в качестве *такового* [человека], но и привнес в картину более мягкие тона человечности и добра.

Основные догматы христианской религии со времени ее возникновения оставались, пожалуй, теми же самыми, но обстоятельства времени один догмат отодвигали совершенно в тень, а другой преимущественно возносили, выдвигали на свет, искажали за счет принижаемого, либо слишком расширяя его значение, либо слишком ограничивая его.

Вся масса религиозных основоположений и вытекающих отсюда чувств, в частности степень силы, с которой они могут влиять на способ поведения, составляет главный пункт народной религии. На угнетенный дух, который потерял под бременем своих цепей свою юную силу и начал стареть, религиозные идеи могут оказать незначительное впечатление.

Юный гений народа и стареющий: первый полон собой и ликует, чувствуя свою силу, устремляется жадно ко всему новому, интересуется наиболее живым в нем, но тотчас быстро оставляет все это и обращается

к чему-либо другому, однако это никогда не может быть чем-то, что наложит оковы на его гордую, свободную волю; стареющий гений отличается всегда главным образом прочной приверженностью к традиционному; поэтому он носит свои оковы, как старик подагру, на которую он ворчит, но которую не может отделить от себя, позволяет бить себя и трести, как того хочет его властитель, но довольствуется он только урезанным сознанием, не свободно, не открыто, не со светлой и прекрасной радостью, привлекая к сопереживанию и других; и праздники его — болтовня, как для старика самое главное — это поговорить; нет ни громкого возгласа, ни полнокровного наслаждения.

### **Объяснение различия между объективной и субъективной религией; важность этого объяснения для всего вопроса**

Объективная религия есть *fides quae creditur*<sup>3</sup>, рас-судок и память суть силы, которые содействуют ей, добывают, взвешивают и сохраняют знания или также верят. К объективной религии могут также принадле-жать практические знания, но постольку они являются лишь мертвым капиталом; объективную религию мож-но упорядочить в голове, она позволяет приводить себя в систему, излагать в книге и излагать другим посред-ством речи; субъективная религия выражается только в чувствах и поступках, — когда я говорю о человеке, что у него есть религия, это означает не то, что он об-ладает достаточным знанием ее, а то, что его сердце чувствует дела, чудо, близость божества, он познает, он видит бога в его природе, в судьбах людей, он па-дает перед ним ниц, благодарит его и восхваляет его в своих делах, в своих поступках, смотрит не только на то, хороши ли они и умны, мысль о том, что посту-пок этот угоден богу, также является для него мотивом поступка, часто наиболее сильным. В наслаждениях, при счастливых событиях он всегда обращает взор свой к богу и благодарит его. Субъективная религия яв-ляется живой, она есть активность внутри существа и

деятельность, направленная вовне. Субъективная религия есть нечто индивидуальное, объективная — абстракция; первая — живая книга природы: растения, насекомые, птицы и звери, в том виде, как они живут среди друг друга, один за счет другого — каждый живет, каждый наслаждается, все они перемешаны, всюду можно найти все виды вместе; вторая — кабинет натуралиста, который умерщвляет насекомых, засушивает растения, из зверей делает чучела или держит их в спирте и размещает в одном месте все то, что природа разделила, устанавливает одну единую цель там, где природа связала узами дружбы бесконечное многообразие целей.

Вся масса религиозных сведений, относящихся к объективной религии, в качестве таковой может принадлежать целому великому народу, она могла бы быть таковой на всей земле; она вплетена в субъективную религию, но составляет лишь небольшую, довольно пассивную часть ее, по-разному модифицируясь в каждом человеке. Важнейшее, что принимается во внимание в субъективной религии, — настроена ли душа и насколько настроена к тому, чтобы определять себя религиозными побуждениями, насколько возбудима она в этом плане; и далее — какие виды представлений оказывают преимущественное впечатление на сердце, какие виды чувств больше всего культивируются в душе и легче всего порождаются; один человек не имеет представления о более кроткой любви, побуждения, рождаемые любовью к богу, не находят отзвука в его сердце, его более грубые органы чувств потрясены бывают лишь волнением в страхе, громами и молниями, струны его сердца не откликаются на нежные прикосновения любви; уши другого человека глухи к голосу долга — нет пользы в том, чтобы обращать внимание их на внутреннего судью поступков, который основался в самом сердце человека, — на совесть, в них никогда не раздается этот голос; корысть — вот маятник, качание которого поддерживает работу их механизма.

От этого настроения, от этой восприимчивости зависит, какой будет субъективная религия каждого

индивида. Объективной религии нас обучают с детства, в школе; достаточно рано закладывают ее в нашу память, так что часто еще не окрепший рассудок, прекрасное нежное растение, открытое свободное чувство, сгибается под [ее] тяжестью, — или подобно тому, как корни пробиваются сквозь рыхлую почву, жадно высасывают из нее питательные вещества, но огибают камень и ищут другого направления, так постоянным грузом навсегда остается возложенное на память бремя, — окрепшие же душевные силы или сбрасывают его совсем, или, не получая от него никаких питательных соков, оставляют его в стороне.

В каждого человека природа поместила росток более тонких, вытекающих из моральности чувств; она вложила в него чувство моральности, более далеких целей по сравнению с чистой чувственностью; что эти прекрасные ростки не задушены, что из них выросла действительная восприимчивость к моральным идеям и чувствам — это дело воспитания, образования; религия не является первым, что может пустить корни в душе, она должна найти подготовленную почву, в которой только она и может развиваться.

Все зависит от субъективной религии — у нее подлинная, истинная ценность, пусть спорят теологи о догмах, о том, что относится к объективной религии, о более детальных определениях принципов последней; в основе каждой религии лежит небольшое количество фундаментальных принципов, которые в различных религиях только более или менее модифицируются, искажаются, излагаются в более или менее чистом виде; они образуют основу всякой веры, всякой надежды, которые религия дает нам в руки. Когда я говорю о религии, то я решительно абстрагируюсь от всякого научного или, скорее, метафизического познания бога, нашего отношения к нему и отношения всего мира и т. д. Такое познание, которым занимается только резонирующий рассудок, есть теология, но никак не религия. Знание о боге и бессмертии я причисляю здесь к религии только потому, что такова потребность практического разума, и все это находится в легко сознаваемой связи с нею. При этом не исключаются более



подробные разъяснения об особых усилиях бога, направленных на благо людей.

Но и об объективной религии я также говорю лишь постольку, поскольку она образует составную часть субъективной.

Я не намереваюсь исследовать ни то, какие религиозные учения представляют наибольший интерес для сердца и могут дать наибольшее утешение и возвышение для души, ни то, какими должны быть учения религии, чтобы народ стал лучше и счастливее, — я намерен исследовать меры, направленные на то, чтобы учение и силы религии вплетались в ткань человеческих чувствований, чтобы ее побуждения присоединялись к поступкам людей и оказывались в них живыми и действенными, чтобы религия стала вполне субъективной. Если она является таковой, то она не только обнаруживает свое наличное бытие в молитвенном складывании рук, в коленопреклонении и смирении сердца перед святынею, но и распространяется на все виды человеческих симпатий (если даже душа и не отдает себе в этом отчета) и действует всюду, но лишь опосредованно; она действует, если можно так выразиться, негативно, во время веселого наслаждения человеческими радостями, или при свершении возвышенных дел и во время упражнения более кротких добродетелей человеколюбия; но если даже она воздействует и не непосредственно, то у нее все же более тонкое влияние, так что душа продолжает при этом действовать свободно и открыто и не ослабляет своей деятельности, — выражению человеческих сил, подобных силе мужества, человечности, а также радостному состоянию, наслаждению жизнью принадлежит свобода от злонравного расположения души к зависти и т. п., принадлежит невинность и чистая совесть, и этим двум качествам способствует религия. Таким образом, она пользуется влиянием и в том отношении, что связанная с ней невинность умеет точно определить точку, где радость может переродиться в излишество, а мужество и решительность — в покушение на чужие права.

Если теология является делом разума и памяти (ее происхождение тем не менее может быть любым — источником ее может быть и сама религия), религия же есть дело сердца, представляющее интерес ввиду потребности практического разума, то из этого само собой явствует, что в религии и теологии действуют различные душевные силы, да и подготовка души для обеих требуется различная. Для того чтобы мы могли надеяться, что высшее благо — претворить в действительность одну составную часть которого возложено на нас как долг — станет действительным во всем целом, практический разум требует веры в божество — в бессмертие.

Это по крайней мере тот зародыш, из которого вырастает религия; и совесть, внутренний смысл справедливости и несправедливости, и чувство, что за несправедливостью должно следовать наказание, а за справедливостью — блаженство, лишь отчасти раскрывается в таком выведении религии, в отчетливых понятиях. Пусть идея некоего всемогущего непостижимого существа возникла в душе человека в результате какого-либо ужасного природного явления или бог впервые явил себя человеку в грозе, когда последний сильнее чувствует присутствие бога, или в ласковом дуновении вечернего ветерка, — эта идея задела моральное чувство человека, которое сочло ее вполне отвечающей его потребности.

Религия есть простое суеверие, если из нее в подобных случаях берут основания для поступков, — где только благоразумие может дать совет, или если только страх перед божеством ведет к совершению известных действий, с помощью которых человек надеется избежать его неудовольствия. У многих чувственных народов дело с религией обстоит, очевидно, именно так — представление о боге и его способе поведения по отношению к людям ограничивается тем, что он действует по закону человеческой чувственности и воздействует лишь на чувственность людей; и только совсем незначительная доля морального примешивания

вается к этому понятию — понятие бога и понятие обращения к богу в служении ему уже морально, то есть оно уже в большей степени указывает на сознание порядка, более высокого и определенного более значительными целями, чем чувственность, — если даже сюда и примешивается затронутое выше суеверие (но к обращенному к божеству запросу относительно будущего результата присоединяется попытка воззвать к его помощи, чувство, что все зависит от его решений, и всегда в основе лежит вера или по крайней мере, что наряду с верой в судьбу существует естественная необходимость в том, что божество только правому дарует счастье, а неправому и гордецу определяет несчастье) и если из религии черпаются моральные стимулы действия.

Субъективная религия присуща добрым людям, объективная может принимать почти любую окраску, весьма безразлично какую. «В чем я кажусь вам христианином, в том самом вы мне евреем кажетесь!» — говорит Натан<sup>5</sup>, ибо религия есть дело сердца, которое часто непоследовательно относительно догм, которые принимает рассудок или память, — самые distinguished люди несомненно не всегда те, кто больше всего рассуждал о религии, — последние очень часто превращали религию свою в теологию, т. е. подменяли полностью, сердечность веры холодным знанием и словесной пышностью!

А ведь религия лишь очень мало выигрывает благодаря рассудку; напротив, его операции, его сомнения могут скорее охладить сердце, чем согреть; и тот человек, который нашел, что представления других наций, или, как их называют, язычников, содержат много абсурдного, и потому несказанно радуется своей более глубокой пронизательности, своему уму, позволяющему ему видеть больше, чем видели величайшие мужи, — тот не знает сущности религии. Кто именует своего Иегову Юпитером или Брамой и является подлинным почитателем бога, тот столь же по-детски, как и истинный христианин, приносит свою благодарность, свою жертву. Кого не тронет прекрасная простота, когда невинность думает о своем великом благодетеле,

при всем том добром, что дает ей природа, приносит ему все самое лучшее, самое непорочное, перворожденное зерно, перворожденного агнца, — кого не изумит Кориолан, когда тот в величии своего счастья боится Немезиды (подобно тому как смирился перед богом Густав Адольф в битве при Лютцене), моля богов уничтожить не дух римского величия, но его самого<sup>6</sup>.

Такого рода черты действуют на сердце; и ими нужно наслаждаться в сердце своем, в наивности духа и чувства, а не искусно судить о них холодным рассудком. Только самомнение сектантского духа, который считает себя более мудрым, чем все люди прочих партий, может пренебрежительно не заметить в последних невинных пожеланиях Сократа принести петуха в жертву богу здоровья — прекрасное чувство Сократа, благодарящего богов за свою смерть, на которую он смотрит как на излечение, и сделать такое грубое замечание, какое делает Тертуллиан в «Апологии», 46<sup>7</sup>.

Где сердце (как у послушника в сцене из «Натана», откуда взяты приведенные выше слова) говорит не громче, нежели рассудок, где оно зачерствело и дает рассудку время резонерствовать о поступке, оно не годно на многое, в нем не живет любовь. Нигде голос непорочного чувства, чистого сердца и своенравие рассудка не противопоставлены друг другу более совершенно, чем в евангельской истории о том, как Иисус с радостью и любовью принял от некой до того времени пользовавшейся дурной славой женщины натирание для своего тела как открытое, не стесненное вокруг стоявшими людьми излияние прекрасной, проникнутой раскаянием, доверием и любовью души; однако некоторые из его апостолов имели слишком холодное сердце, чтобы отозваться на чувство этой женщины, на ее прекрасную, выражавшую доверие жертву, и смогли сделать холодное, облаченное в красивые слова пояснение под видом заботы о благотворительности. Какое черствое и поспешное замечание, когда добрый Геллерт<sup>8</sup> где-то говорит: малое дитя знает сегодня о боге больше, чем самый мудрый язычник, — как и Тертуллиан говорит («Апология», гл. 46): *deum quilibet orifex* и т. д.<sup>9</sup> Это точно так же, как если бы

у компендиума морали, который стоит здесь в моем шкафу и только от меня зависит, не завернуть ли в него вонючий сыр, была бóльшая ценность, чем у души Фридриха II, возможно, иногда и неправой; ибо различие между *orifex* Тертуллиана, «ребенком» Геллерта, в которого вместе с катехизисом вбили теологическую закваску, и бумагой, на которой напечатали правоучения, в этом отношении не очень велико, — собственно говоря, приобретенное посредством опыта сознание в обоих случаях почти в равной степени отсутствует.

### **Просвещение. Желание действовать посредством рассудка**

Рассудок служит только объективной религии. [Его дело] очистить принципы, представить их в их чистоте — он взрастил превосходные плоды — Лессингова «Натана» и заслуживает похвал, которыми его всегда награждают.

Но рассудок никогда не превратит принципы в принципы практические.

Рассудок есть некий придворный, который угождает настроениям своего господина: он умеет разыскать основания для оправдания всякой страсти, для всякой затеи, он является преимущественно слугой себялюбия, всегда очень проницательного в стремлении придать красивую окраску совершенным или будущим ошибкам и часто восхваляющего самого себя за то, что оно нашло для себя такую хорошую отговорку.

Просвещение рассудка делает человека умнее, но не делает его лучше. Хотя добродетель и выводят из мудрости, хотя и подсчитывают, что без добродетели человек не сможет стать счастливым, все же такой расчет слишком изворотлив и слишком холоден, чтобы быть действенным в момент совершения поступка, чтобы вообще иметь влияние на жизнь.

Тот, кто прибегает к помощи наилучшей морали, знакомится с точнейшими определениями как всеобщих принципов, так и отдельных обязанностей и доб-

родетелей; но если бы во время совершения действительного поступка думать обо всей этой груде правил и исключений, то получился бы такой запутанный образ действия, который всегда был бы опасливым, вечно в споре с самим собою. Кто когда-либо писавший о морали станет надеяться, что когда-нибудь будет человек, который или выучит наизусть его книгу, или будет справляться в его «Морали» относительно всего, что он делает, относительно всякого желания, которое придет ему в голову, является ли оно нравственным, дозволенным? И все же это, собственно, есть требование, которое предъявляет человеку мораль. Никакая печатная мораль, никакое просвещение рассудка — негативное действие «Теофраона» Кампе<sup>10</sup> — не могут полностью помешать тому, чтобы возникали дурные склонности, чтобы они достигали значительного развития; человек должен сам поступать, сам действовать, сам принимать решение, а не другие действовать за него — [в противном случае он] не что иное, как простая машина...

Если об этом говорят как о просвещении народа, то это предполагает, что в народе царят заблуждения — народные предрассудки, которые относятся к религии и которые чаще всего в большей или меньшей степени опираются на чувственность, на слепое ожидание, что впоследствии действие, совсем не связанное с причиной, которая должна произвести действие, — у народа, у которого много предрассудков, понятие причины, по-видимому, часто еще основывается на понятии простого следования одного за другим, причем нередко, говоря о причине, опускают и не понимают средние звенья следующих друг за другом действий. Чувственность и фантазия суть источники предрассудков; в этом отношении даже верные, могущие устоять перед исследованием рассудка положения являются у простого народа также предрассудками, когда в них только верят, не зная их оснований.

Предрассудки, таким образом, могут быть двоякого рода:

а) действительные заблуждения.

б) действительные истины, которые, однако, не должны усматриваться как истины, познаваемые в качестве таковых разумом, но которые принимаются на веру, причем за субъективным не признается, таким образом, никакой значительной заслуги. Избавить народ от его предрассудков, просветить его — значит, таким образом (поскольку предрассудки практического толка, т. е. такие, которые влияют на определение воли, имеют совсем другие источники и другие следствия, то о них здесь не идет речь), развить его рассудок в отношении некоторых вещей так, чтобы он, с одной стороны, действительно освободился от убеждения и силы заблуждения, а [с другой] — в какой-то мере был основательно убежден действительными истинами. Но прежде всего: какой же смертный отважится вообще решать, что такое истина? Условимся здесь только, как следует поступать, — если нужно говорить больше *in concreto* о человеческом знании и нечто принимать также и в политическом отношении, дабы имело место человеческое общество, — чтобы были общезначимые принципы, такие, которые не только являются ясными для здравого человеческого смысла, но и лежат в основе всякой религии, если она заслуживает такого имени, как бы ни были эти принципы искажены.

а) Таким образом, несомненно, что только немногие принципы являются таковыми и что (именно в силу того, что они отчасти столь общи и абстрактны, а отчасти — когда они должны быть представлены в чистом виде, как того требует разум, — «противоречат» опыту и чувственной видимости, поскольку не являются для них правилом, а могут подойти только к противоположному порядку вещей) они редко годны для признания со стороны народа; и если даже память удержала их, то это еще не значит, что они составляют какую-либо часть духовной и волевой системы человека,

β) поскольку невозможно, чтобы религия, которая должна быть общей для народа, состояла из общих истин, до которых каждый раз поднимались только более исключительные люди, постигая их с любовью в сердце, и, таким образом, в ней отчасти всегда должны быть примеси, которые надо принимать на веру; или

поскольку невозможно, чтобы стали более грубыми чистые принципы, — раз их необходимо облекать в более чувственную оболочку, чтобы они понимались и были приемлемы для чувственности, — а отчасти должны также вводиться такие обряды, в необходимости или пользе которых с детства убеждали доверчивую веру и привычку; выясняется, что невозможно, чтобы народная религия (что уже заключается в самом понятии религии), если ее учения должны быть действительными в жизни, могла быть построена на чистом разуме. Позитивная религия необходимо покоится на вере в традицию, передавшую ее нам; и, таким образом, в необходимости ее религиозных обрядов мы убеждаемся также только на этом основании — в силу обязательности их, в силу веры, что бог требует их от нас как обязанности, угодной ему. Но, рассматривая их сами по себе только с помощью разума, можно утверждать о них лишь то, что они служат созиданию, пробуждению благочестивых чувств, и можно исследовать, насколько целесообразны они в этом отношении. Но коль скоро я убеждаюсь, что бог сам по себе не почитается в этих обрядах, в нашем служении ему, что самым угодным для него служением были бы праведные поступки, то — если я даже сознаю, что эти обряды служат для назидания, — они, и именно в силу всего этого, в значительной степени уже утратили для меня долю своего возможного впечатления.

Так как религия вообще является делом сердца, то можно поставить вопрос: в какой мере должен примешиваться рациональный момент, чтобы оставалась религия? Когда много размышляют о возникновении чувств, об обрядах, в которых следует принимать участие и с помощью которых должно пробудиться благочестивое чувство, об их историческом происхождении, об их целесообразности и т. п., то они, конечно, теряют ореол святости, в котором мы всегда привыкли видеть их, так же как теряют свой авторитет догмы богословия, когда мы освещаем их с помощью церковной истории. Но сколь мало такое холодное размышление дает поддержку человеку, мы видим зачастую, когда люди попадают в ситуацию, где терзаемое сердце нуждается



в прочной опоре, где отчаяние часто вновь прибегает к тому, что прежде гарантировало им утешение и за что оно теперь держится тем крепче и боязливее, чтобы это от них снова не ускользнуло, и затыкает уши от софистических доводов рассудка.

Мудрость есть не что иное, как просвещение, рассуждение. Но мудрость — это не наука. Мудрость есть возвышение души; благодаря опыту, соединенному с размышлением, мудрость поднялась над зависимостью от мнений и впечатлений чувственности, и когда эта мудрость практическая, а не просто самодовольная, хвастливая, она неизбежно должна сопровождаться спокойной теплотой, кротким пламенем; она мало рассуждает, она не идет из понятий *methodo mathematico* и не приходит к тому, что принимает за истину, через ряд умозаключений, таких, как *Barbara* и *Baroco*, — она приобретает свое убеждение не на обычном рынке, где знание дается каждому, кто заплатил причитающееся, она не могла бы расплачиваться блестящей монетой, имеющей хождение валютой, — а говорит из полноты сердца.

Формирование рассудка и применение его к объектам, которые привлекают к себе наш интерес, — просвещение остается поэтому таким же прекрасным преимуществом, как и отчетливое знание обязанностей, просвещение относительно практических истин. Но они не обладают таким свойством, чтобы они могли дать человеку моральность; их значение беспрельдно уступает доброте и чистоте сердца, поэтому они, собственно, «не» *commensurabel* [соизмеримы].

Бодрость духа — главная черта в характере благонаправленного юноши; если обстоятельства помешают ему в большей мере обратиться к самому себе, если он примет решение стать добродетельным человеком и если при этом он имеет еще недостаточно опыта, чтобы книги могли подготовить его к этому, — то он, возможно, возьмет в руки «*Теофраста*» Кампе с целью сделать эти наставления мудрости и благоразумия руководством для своей жизни, он утром и вечером станет читать по разделу оттуда и целый день думать об этом — каков же будет результат? Может быть, действительно

совершенствование, знание людей, практическая мудрость? Для этого требуется многолетняя тренировка и опыт, а размышления о Кампе и камповской струнке за неделю внушат ему отвращение! Мрачным и робким вступит он в общество, где только тот является желанным, кто умеет его развеселить; нерешительно вкушает он удовольствие, которым наслаждается только тот, у кого радостное сердце. Проникнутый чувством своего несовершенства, заискивает он перед каждым; его не веселит женское общество, ибо здесь он испытывает страх — тихое прикосновение девушки может зажечь в его крови пламенный огонь, и это делает его неловким, натянутым; но он не выдержит этого долго, в скором времени выйдет из-под контроля угрюмого наставника и будет чувствовать себя при этом лучше.

Если просвещение и должно дать что-то, чем наделил его великий панегирист, если оно и должно оправдать свою славу, так это истинной мудростью, в противном случае оно останется ложной мудростью, чванливой и кичащейся перед столь многими слабыми братьями своими *manières* [манерами], в которых, как она воображает, ее преимущество перед другими. Это самомнение чаще всего имеет место у большинства юношей и мужчин, которые приобретают новые взгляды из книг и начинают отказываться от своих прежних верований, общих у них с большинством окружающих их людей, причем часто особенно большую роль играет здесь тщеславие. Тот, кто при этом много говорит о непостижимой глупости людей, кто скрупулезно доказывает, что вот величайшая нелепость, что у народа такой-то предрассудок, кто при этом всегда бросается словами: «просвещение», «знание людей», «история человечества», «счастье», «совершенство», есть не кто иной, как болтун от просвещения, шарлатан, предлагающий выдохшиеся лекарства от всех болезней, — [такие люди] кормят друг друга пустыми словами и не обращают внимания на святую, нежную ткань человеческого чувства. Каждый, вероятно, может услышать о чем-то подобном, о чем судачат вокруг него; иной, возможно, испытал это на самом себе, так как в нашу заполненную писаниной эпоху этот путь образования

является весьма частым. Если даже тот или другой человек в течение жизни и научится в большей степени понимать то, что прежде лежало в его душе мертвым капиталом, то и тогда в каждом желудке все же останется непереваренная масса книжной учености, которая — поскольку желудок в значительной мере занят ею — мешает более полезной пище и не позволяет остальной системе тела получать питательные соки; одутловатый вид создает, возможно, видимость здоровья, но сухая флегма во всех членах парализует свободное движение.

Дело просвещающего рассудка — очистить объективную религию. Но в такой же мере, в какой *его* сила не играет значительной роли в улучшении людей, воспитании, которое должно породить возвышенные, глубокие убеждения, благородные чувства, решительную самостоятельность, так и продукт — объективная религия — имеет при этом небольшой вес.

Когда человек созерцает свой труд — великое, возвышенное здание познания бога и познания человеческих обязанностей и природы, это льстит человеческому рассудку. Для этого он, разумеется, достал материал; он соорудил из него здание и все время продолжает украшать его и даже снабжать его каким-нибудь завитком; но чем более многослойной и сложной является конструкция, над которой трудится все человечество, тем меньше принадлежит она каждому в отдельности. Кто только копирует эту всеобщую конструкцию, только из нее выбирает для себя, кто не в себе самом и не из себя самого строит собственный домик, чтобы иметь жилище с крышей и стенами, где он был бы совсем у себя, где он каждый камень если не сделал совершенно заново, то все же положил куда следует, повертел в руках, — тот является начетчиком, тот не жил и не трудился самостоятельно.

Кто только строит себе дворец в подражание тому большому зданию и живет в нем, как Людовик XIV в Версале, тот едва ли знает все покои своего владения и занимает лишь один очень маленький кабинет, тогда как хозяин дома в своем доставшемся ему от предков домике умеет всегда распорядиться наилучшим обра-

зом, рассказать о каждом винтике, каждом шкафчике, об их использовании и их истории («Натан» Лессинга). О большей части того, чем я владею, я могу еще сказать: как, где, почему я учился этому<sup>11</sup>.

Религия должна помочь человеку строить его маленький домик, который он тогда может назвать своим собственным, — но в какой мере она может помочь ему в этом?

Если между чистой религией разума, которая поклоняется богу в духе и в истине и служение ему полагает только в добродетели, и между фетишистской верой, которая верит, что может снискать себе уважение у бога также и через нечто *иное*, нежели добрая по себе самой воля, существует такое значительное различие, что последняя в противоположность первой не имеет никакой ценности, что обе относятся к совершенно различным видам, и если, таким образом, для человечества очень важно проводить это различие всегда в пользу религии разума и вытеснять фетишистскую веру, то — поскольку всеобщая духовная церковь остается только идеалом разума и поскольку, пожалуй, невозможно, чтобы могла быть учреждена публичная религия, которая исключила бы всякую возможность вывести из себя фетишистскую религию, — спрашивается, каким образом должна быть организована народная религия, чтобы а) негативно — дать как можно меньше повода для начетничества и как можно меньше сохранить привязанность к обычаям и б) позитивно — народ, ведомый к религии разума, приобрел к ней восприимчивость.

Когда в морали в качестве последней вершины нравственности и последнего пункта стремления полагается идея святости, то возражения тех, кто говорит, что такая идея для человека недостижима (что допускают и сами моралисты) и что кроме чистого уважения к закону человеку нужны еще и другие, относящиеся к его чувственности, побудительные причины, — такие возражения доказывают не то, что человек не должен стремиться — пусть даже нужна для этого целая вечность — приблизиться к этой идее, а только то, что при грубости и при мощной тяге к чувственности

большинства людей зачастую следовало бы довольствоваться хотя бы тем, чтобы установить законность (а чтобы установить ее, не требуются чисто нравственные побудительные причины, ср. Матф. 19,16<sup>12</sup> — для этого в них было мало чувства), и что польза была бы уже от простого совершенствования грубой чувственности — по крайней мере развивался бы интерес к чему-то более возвышенному, вместо собственно животных инстинктов развивались бы чувства, которые более подвержены влиянию разума и больше приближаются к моральному, или что (причем только это, собственно, и возможно), когда громкий крик чувственности несколько заглушен, моральные чувства также пускают ростки, — вообще, уже простая культура была бы выигрышем; они хотят, пожалуй, только одного — [доказать], что на этой земле будто бы невероятно, чтобы человечество или хотя бы отдельный человек обошлись когда-нибудь без внеморальных побудительных причин, — в саму нашу природу вложены такие чувства, которые, хотя и не моральны и возникли не из уважения к закону и таким образом не являются твердыми и прочными, не имеют ценности в себе самих и опять-таки не заслуживают внимания, все же вполне приятны, препятствуют злым наклонностям и поощряют лучшее в человеке, — к такому роду принадлежат все благонравные склонности, сострадание, доброжелательность, дружба и т. д. К этому эмпирическому характеру, который заключен внутри круга склонностей, принадлежит также моральное чувство, которое должно вплести свои нежные волокна во всю ткань; основной принцип эмпирического характера есть любовь, которая имеет нечто аналогичное с разумом, поскольку любовь, когда она находит себя самое в других людях или, лучше сказать, забывает самое себя, изгоняет себя из своего существования и начинает жить, чувствовать и действовать в других так же, как разум в качестве всеобщего принципа, вновь узнает себя как общезначимый закон, как согражданина интеллигибельного мира в каждом разумном существе! Хотя эмпирический характер человека и возбуждается желанием или нежеланием, *однако* любовь, хотя это

уже патологический принцип поведения, бескорыстна, она делает добро не потому, что она рассчитала, что радости, которые приносят ее действия, являются более чистыми и более длительными, чем радости чувственности или радости, возникающие от удовлетворения какой-либо страсти, — она, таким образом, не принцип утонченного себялюбия, где Я в конце концов всегда есть последняя цель.

Для установления принципов эмпиризм, конечно, совершенно не годится, но когда речь идет о том, как следует воздействовать на людей, то следует принять их такими, каковы они есть, и отыскать все добрые побуждения и чувства, благодаря которым, если даже свобода человека непосредственно и не увеличивается, натура его все же может облагородиться. В случае народной религии особенно важно, чтобы фантазия и сердце не оставались неудовлетворенными, чтобы первая наполнялась великими, чистыми образами, а в последнем пробудилось благодетельное чувство. Чтобы и то и другое получили правильное направление, для религии, объект которой так велик и так возвышен, тем более важно, что оба могут выбрать себе слишком легкий для них путь или ввести себя в заблуждение, так что или сердце соблазнится ложными представлениями и своим собственным удобством, привяжется к внешним вещам или найдет пищу в низменных, мнимо смиренных чувствах, надеясь тем самым служить богу, или фантазия свяжет как причину и действие вещи, следование которых друг за другом является чисто случайным, и будет надеяться на свое исключительное воздействие на природу. Человек есть столь многосторонняя вещь, что из него можно делать все; у столь разнообразно переплетенной ткани его чувств так много разных концов, что можно цепляться за разные — не за один, так за другой. Поэтому он способен на безрассуднейшие суеверия, на величайшее иерархическое и политическое рабство; задача сплести прекрасные нити природы в одну благородную тесьму должна быть по преимуществу делом народной религии.

Народная религия отличается от частной религии главным образом тем, что цель ее, поскольку она сильно действует на воображение и сердце, вообще вдыхает в душу силу и энтузиазм. — дух, без которого немислима великая, возвышенная добродетель. Совершенствование каждого отдельного человека в соответствии с его характером, наставление в случае столкновения разных обязанностей, особые средства поощрения добродетели, утешение и ободрение каждого отдельного в страданиях его и в несчастных случаях — воспитание всего этого должно быть предоставлено частной религии, а что она не подходит для роли публичной народной религии, явствует из следующего:

а) [Необходимо] наставление в случае столкновения разных обязанностей, а последние столь разнообразны, что я, в силу этого, могу разобраться в них, чтобы удовлетворить свою совесть, или только прибегая к совету рассудительных и опытных людей, или посредством убеждения, что долг и добродетель суть высший принцип, убеждения, которое уже прежде сделалось способным утвердиться во мне и стать максимой моих действий благодаря публичной религии; общественное обучение, как и обучение морали (о чем см. выше), слишком сухо, да и оно, как и мораль, не в силах делать так, чтобы душа в момент действия определялась чисто казуистическими правилами; иначе это породило бы вечную педантичность, которая совершенно противоположна решительности и силе, требующимся для добродетели.

б) Если добродетель появляется не в результате учения и болтовни, а как растение, которое — хотя и при надлежащем уходе — развивается все же благодаря своему внутреннему побуждению и своей силе, то различные искусства, которые будто бы выдуманы, чтобы выращивать добродетель, словно в теплице, и где будто бы нет недостатков, вредят человеку больше, чем когда его оставляют в запущении<sup>13</sup>. Публичное обучение религии в силу своей природы приводит не только к тому, что рассудок просвещается относительно идеи бога и нашего отношения к нему, но также и к тому, что все прочие обязанности пытаются вывести из обя-

зательств, которые мы имеем «перед» богом, и тем самым пытаются сделать их для нас более убедительными, представить их как более обязательные. Однако такое выведение содержит что-то неестественное, что-то весьма натянутое; это — соединение, где лишь рассудок усматривает взаимосвязь, которая часто очень искусственна и по крайней мере обыкновенному человеческому смыслу не делается ясной, и обычно, чем больше мотивов приводят в пользу долга, тем равнодушнее становятся к нему.

с) Единственное истинное утешение в страдании (для боли нет утешения — ей может противостоять только сила души) есть надежда на божественное провидение, все остальное есть пустая болтовня, которая отскакивает от сердца.

Какой должна быть народная религия? (Народная религия взята здесь объективно):

- а) с учетом объективных догматов,
- б) с учетом церемоний.

А. I. Ее догматы должны быть основаны на всеобщем разуме.

II. Фантазия, сердце и чувственность должны уходить от нее не с пустыми руками.

III. Она должна быть таковой, чтобы с ней были соединены все потребности жизни — публичные государственные действия.

В. Чего она должна избегать?

Фетишистских верований, к которым зачастую относится, особенно в наш многословный век, и то, что посредством тирад о просвещении и т. п. думают удовлетворить требования разума, когда происходит вечная склока вокруг догматических учений, и при этом мало что улучшается в себе и в других.

## I

Догматы, даже если их авторитет покоится на божественном откровении, обязательно должны быть таковыми, чтобы они, собственно, были утверждены всеоб-



щим разумом людей, чтобы их обязательность сразу же усматривал и чувствовал любой человек, как только он обратит на них свое внимание; так как, помимо того что такие догматы, которые или указывают нам особое средство достигнуть божественного расположения, или же обещают нам приобретение каких-то особых, более высоких, более подробных объяснений относительно недостижимых предметов (и именно в качестве цели разума, а не просто фантазии), — помимо того что рано или поздно они становятся предметом нападков мыслящих людей и предметом споров (причем практический интерес всегда утрачивается или же вследствие спора устанавливается точный — нетерпимый — символ), они, несомненно, никогда — ибо их связь с истинными нуждами и требованиями разума всегда остается неестественной, когда все же эта связь в силу привычки становится совсем прочной, легко дают повод к злоупотреблениям, — не обретают для чувства значимости чистого, подлинного, непосредственно относящегося к моральности практического момента.

Но в то же время эти догматы должны быть простыми, и если это истины разума, то они являются простыми именно потому, что тогда не требуют ни аппарата учености, ни обилия утомительных доказательств, и благодаря этой особенности, благодаря тому, что они просты, они приобретают тем большую силу и тем большее впечатление производят на душу, на определение воли к действиям и в такой своей концентрированности имеют куда большее влияние, принимают куда большее участие в образовании народного духа, чем нагроможденные и искусственно упорядоченные приказы, которые именно из-за этого всегда требуют многих исключений.

К тому же эти всеобщие догматы должны быть человеческими — требование великое и трудное, — и именно настолько человеческими, чтобы соответствовать духовной культуре и ступени моральности, на которой находится народ. Пожалуй, некоторые из идей, наиболее возвышенных и важных для людей, как раз едва годятся для того, чтобы восприниматься вообще как максимы, — кажется, что они могут быть собствен-

ностью лишь немногих искушенных, в результате длительного опыта постигших мудрость людей, в душе которых они становятся твердой верой, непоколебимым убеждением, — и именно в ситуации, когда вера должна ободрять. Такова вера в некое мудрое и милосердное провидение, с ней, если она живая, настоящая, связывается полнейшая преданность богу.

Но даже если этот догмат и все, что с ним связано, есть основной догмат христианской общины в силу того, что все, что в нем высказывают, сводится к недостижимой любви бога, в которой исток всего (а кроме того бога всегда, постоянно представляют близким нам и присутствующим, воздействующим на все, что происходит вокруг нас), даже если все это представляется в значительной степени не только стоящим в самой необходимой связи с нашей нравственностью и тем, что для нас есть самое священное, но и благодаря многократным уверениям самого бога, благодаря другим фактам, которые неопровержимо должны убеждать нас в этом, поднимается до полнейшей достоверности, — опыт показывает нам все же очень часто — особенно у большой толпы, — что удар грома, холодная ночь способны подорвать это доверие к провидению, и должностующее следовать из этого терпеливое смирение перед волей бога, умение подниматься над нетерпением, досадой по поводу несбывшихся надежд, над недовольством, связанным с бедою, выпадает вообще только на долю мудрого человека.

Это столь внезапное падение доверия к богу, быстрый переход к недовольству им облегчается еще и тем, что христианскую чернь не только с юных лет приучают беспрестанно молиться, но и пытаются все время убедить в высшей необходимости этого, обещая взамен непременно исполнение мольбы.

Далее, ради пользы страдающего человечества со всех концов нанесли такую кучу оснований для утешения в несчастье, что у кого-нибудь в конце концов может появиться сожаление, что нельзя каждый день терять отца или мать или слепнуть — данное соображение приняло здесь такой ход, что и в самом широком

кругу с необычайной проницательностью изучались и выискивались физические и моральные воздействия всех этих несчастий, — думали, подставляя все подобное в качестве цели провидения, что тем самым достигли лучшего понимания его планов в отношении людей, причем не только в целом, но и в частностях.

Но поскольку мы не довольствуемся тем, чтобы, полные святого благоговения, приложить к губам палец и умолкнуть, то нет ничего обычного того, что нескромная дерзость притязает и на то, чтобы овладеть путями провидения, — склонность эта усиливается еще — правда, не в простонародье — из-за тех многочисленных идеальных идей (*idealischen Ideen*), которые вошли в моду. Это весьма мало способствует преданности воле божией и удовлетворенности. Было бы очень интересно сравнить с этим веру греков. С одной стороны, у них в основе была вера, будто боги склонны к добру и злого человека отдают ужасной Немезиде, вера, утвержденная на глубокой моральной потребности разума, изящно оживленной теплым дыханием чувств, а не на холодном, выведенном из отдельных случаев убеждении в том, что все оборачивается к лучшему, убеждении, которое никогда нельзя перенести в действительную жизнь; с другой стороны, несчастье у них было несчастьем, боль была болью — что случилось, того не изменить, — они могли не ломать себе голову, стараясь постичь умыслы богов, так как их *moira*, их *анансаia τυχη*<sup>14</sup> была слепа, но уж этой необходимости они подчинялись тогда добровольно, со всей возможной безропотностью и по крайней мере имели преимущество — они могли более легко переносить то, на что с ранних лет привыкаешь смотреть как на неизбежное, и несчастье к боли и страданию, порождаемому им, не добавляло еще более тяжелые, более невыносимые досаду, недовольство, неудовлетворенность. Эта вера, поскольку она *несет в себе*, с одной стороны, уважение перед потоком естественной необходимости и одновременно убеждение, что боги властвуют над людьми, руководствуясь моральными законами, как кажется, по-человечески соответ-

ствуется возвышенности божества и бессилию, зависимости от природы, ограниченному кругозору человека.

Простые, основанные на всеобщем разуме догматы уживаются с любой степенью народной образованности, и последняя будет также постепенно модифицировать первые в соответствии со своими изменениями, хотя больше лишь с внешней стороны, больше с той, которая касается живописаний чувственной фантазии.

Эти догматы (если это догматы, основанные на всеобщем человеческом разуме) не могли при этом в силу своего характера иметь какую-либо другую цель, кроме как действовать на дух народа в общем плане — отчасти через самих себя, а отчасти посредством чар властно внедряющихся в жизнь церемоний, — так что они не будут ни вмешиваться в дела гражданского правосудия, ни присваивать себе частную цензуру, не дадут они и легкого повода (ибо формулы их просты) спорить о себе самих, — поскольку они требуют и утверждают очень мало позитивного, а законодательство разума является тут лишь формальным; то властолюбие жрецов такой религией ограничено.

## II

Всякая религия, чтобы быть народной, необходимо должна занимать сердце и фантазию народа. Также и чистейшая религия разума воплощается в душах людей, еще больше — народа, и, пожалуй, чтобы предотвратить авантюристические выверты фантазии, стоило бы связать с религией даже мифы, по крайней мере чтобы указать фантазии прекрасный путь, который она сможет тогда сама осыпать цветами, — догматы христианской религии большей частью связаны с историей или представлены исторически, место действия — земля, если даже при этом действуют не только люди; здесь, таким образом, фантазии представлена цель, вполне доступная осознанию, но все же остается еще множество места, открывающего простор для ее свободных действий, и если она окрашена черной желчью, то может нарисовать себе страшный мир, но, с другой

стороны, она легко впадает в ребячливость, поскольку, собственно, приятное — прекрасные, черпаемые в чувственном мире краски — исключает дух нашей религии, и вообще мы чересчур люди разума и слов, чтобы любить прекрасные картины. Что же касается церемоний, то, с одной стороны, без них, пожалуй, немислима никакая народная религия, но, с другой, нет, вероятно, ничего более трудного, чем помешать тому, чтобы они не принимались чернью за сущность самой религии.

Религия имеет тройкий состав: а) понятия, б) существенные обычаи, с) церемонии. Если мы рассматриваем крещение или вечерю как ритуалы, с которыми связаны известные исключительные благодеяния и милости, возложенные на нас как обязанности в себе, исполнение которых делает нас, христиан, более совершенными и нравственными, то в этом случае они принадлежат ко второму классу. Если же мы рассматриваем их лишь как средство, цель и действие которого заключается только в пробуждении благочестивых чувств, то тогда они относятся к третьему классу.

Жертвоприношения также относятся сюда, но их нельзя назвать церемониями в собственном смысле, потому что они существенны для религии, с которой они связаны, — они принадлежат самому зданию; церемонии же суть только украшения, формы этого здания.

Жертвоприношения также могут рассматриваться с двух сторон:

а) Частично они совершались у алтарей богов как искупительные жертвы, как отпущение грехов, как превращение вызывающего страх физического или морального наказания в денежную пеню, как заискивание с целью возвращения утраченной милости верховного владыки, дарователя наград и наказаний, причем, хотя в суждениях о малоценности такого обычая и порицается по праву превратность разума и извращение понятия нравственности, в то же время следует обратить внимание на то, что в столь резкой форме идея жертвы нигде (за исключением, пожалуй, христиан-

ской церкви) в действительности не существовала \*, — но все же и в таком случае не должно не осознаваться вовсе значение чувств, которые при этом действовали, если они также не были лишены священного благоговения перед священным Существом, смиренной покорности, сердечного раскаяния перед ним, доверия, что обремененная, вздыхающая по покою душа найдет здесь пристанище. Богомолец, которого гнетет бремя его прегрешений, который покидает свою родную землю, удобства, жену, ребенка, чтобы босиком и в веригах обойти весь свет, ищет непроходимых мест, чтобы заставить страдать свои ноги, и окропляет своими слезами святые места, ищет покоя для своего мятежного, истерзанного духа, находит облегчение в каждой пролитой слезе, в каждом покаянии, во всяком самопожертвовании и при мысли, что Христос здесь ступал, здесь был распят ради него, ободряется, снова обретает силы, доверие к самому себе, — разве такой богомолец в простоте своего сердца должен пробуждать у того, кому в силу понятий его времени уже больше недоступно такое настроение, пробуждать в нас фарисейское чувство: «Я умнее таких людей»? И разве должны эти святые чувства стать для нас предметом насмешек? Такие покаяния также являются своего рода жертвами, о которых я здесь говорю, они приносятся в том же духе, что и те покаяния.

б) Другая, смягченная, возникшая в менее суровых широтах форма жертвоприношения является, вероятно, формой более ранней и всеобщей; она основывалась на благодарности и расположении — здесь чувство, испытываемое к Существом, которое выше человека, сознание, что люди должны быть за все благодарны ему, что оно не отвергнет приносимую ему в невинности души жертву, настроение, стремление при всяком начинании

---

\* За исключением христианской церкви, это была в лучшем случае капля бальзама на душу преступника — его совесть (поскольку нет, наверное, никакого примера такой моральной развращенности целого народа) еще не была этим удовлетворена.

вымолить у него поддержку, думать о нем в радостях, счастье, думать о Немезиде всякий раз, когда выпадает на долю наслаждение, — этому Существо приносят в жертву первенцев, цветы всякого блага, призывая его и надеясь на дружественное его присутствие среди людей, — это настроение, при котором приносят такую жертву, было далеко от мысли о грехах и заслуженных за них наказаниях, которыми должно быть что-то искуплено. В противном случае совесть человека не убеждала бы его в том, что Немезида умиротворена, а потому отказалась от своих требований и от своих законов в установлении морального равновесия.

Такие существенные обычаи религии должны, собственно, быть связаны с ней не более тесно, чем с духом народа, и должны произрастать, собственно, из последнего — иначе их исполнение будет безжизненным, холодным, вялым, а чувства, которые при этом имеют место, притворными, вымученными, — или это обычаи, которые не существенны для народной религии, но могут быть использованы в частной религии — так, вечеря, в той форме, которую она имеет теперь у христиан, независимо, собственно, от своего предназначения, была трапезой, совершаемой в обществе.

К необходимым качествам церемоний в народной религии относится:

а) преимущественно то, что они должны в возможно меньшей степени становиться побуждением к служению фетишу; что они созданы *не так*, что остается только труд, механизм, а дух улетучивается. Их целью должно быть только одно — возносить молитву, выражать святые чувства, а в качестве такого чистого средства, которое меньше всего способно к злоупотреблению и которое производит это действие, остается, вероятно, лишь священная музыка и вообще пение всего народа, возможно, и народные праздники, в которые не может не вмещиваться религия.

### III

Поскольку между жизнью и догматом существует преграда (или только разрыв, большая дистанция, от-

деляющая их друг от друга), то возникает подозрение, будто форма религии имеет изъян: она или обращает слишком много внимания на пустословие, или предъявляет людям слишком большие, ханжеские требования — вопреки их естественным потребностям, стремлениям добропорядочной чувственности — *tēs sōphrosynēs*<sup>15</sup>, — или же одновременно имеет место и то и другое. Если люди перед лицом религии должны стыдиться радостей, веселья, если нужно с публичного праздника, тая смех, прокрадываться в храм, то форма религии имеет слишком мрачную внешнюю сторону, чтобы иметь право с уверенностью сказать себе, что ради ее требований люди отдадут радости жизни.

Она должна радушно обходиться со всеми ощущениями жизни, не желать вторгаться в них, но быть всюду желанной. Если религия должна уметь воздействовать на народ, то она должна радушно сопровождать его во всех его предприятиях и серьезных жизненных делах, а также быть рядом с ним в его праздниках и радостях, но не так, чтобы выглядеть навязчивой или стать обременительной наставницей, а чтобы быть предводительницей, побудительницей. Народные празднества у греков, вероятно, все были религиозными празднествами, посвященными какому-нибудь богу или имеющему заслуги перед их страной и вследствие этого обожествленному человеку. Все, даже распутство вакханок, было посвящено какому-нибудь богу, даже у их театра было религиозное происхождение, о котором они в своем дальнейшем развитии никогда не забывали. Так, Агафон не забыл богов, когда получил награду за свою трагедию, — на другой день он устроил в честь богов праздник ([Платон], «Пир»).

Народная религия рождает и питает высокий образ мыслей — она идет рука об руку со свободой.

Наша религия хочет воспитать людей гражданами неба, взор которых всегда устремлен ввысь, и поэтому человеческие чувства делаются им чуждыми. Во время нашего наиболее значительного публичного праздника люди приближаются к вкушению святого дара в цветах траура с опущенным взором — во время праздника, ко-



торый должен быть праздником всеобщего братания, многие боятся чаши из-за венерических болезней, которыми могут заразить их причастившиеся раньше, и так как душа человека не поддерживается бережно в святых чувствах, то он должен во время акта жертвоприношения доставать [деньги] из кармана и класть на тарелку, — тогда как греки приближаются к алтарям своих богов, увенчанные милостивыми дарами природы, цветами, облаченные в краски радости, распространяя на своих открытых, приглашающих к веселью и любви лицах довольство.

Дух народа, его история, религия, степень политической свободы не могут рассматриваться отдельно ни по их влиянию друг на друга, ни по их внутреннему существу, они связаны в один узел, подобно тому как ни один из трех сослуживцев не может делать ничего без другого, но каждый берет что-то у другого. Формировать моральность отдельного человека — это дело частной религии, родителей, собственных усилий и обстоятельств, формировать же дух народа — дело отчасти народной религии, отчасти политических условий<sup>16</sup>.

Ах, из далеких дней прошлого навстречу душе, которая способна чувствовать человеческую красоту, величие в великом, светит некий образ — образ гения народов, сына счастья, свободы, взлелеянного прекрасной фантазией. Прочные оковы потребностей тоже приковывали его к матери-земле, но он так обработал, усовершенствовал, украсил их благодаря своему чувству, своей фантазии, увидел розами с помощью граций, что чувствует себя в этих оковах как в своем творении, как в части самого себя. Его слуги — радость, веселость, приветливость; его душа наполнена сознанием своей силы и своей свободы, его самые близкие друзья — дружба и любовь, не лесной фавн, но тонко чувствующий, душевный, украшенный всеми прелестями сердца и приятными мечтами Амур.

От своего отца, любимца счастья и сына силы, получил он в наследство доверие к своему счастью и гордость за свои дела. Его снисходительная мать, не крикливая и не суровая женщина, отдала своего сына на

воспитание природе, не спеленала его нежные члены тесными пеленками и, как добрая мать, скорее поощряла настроения, затей своего любимца, нежели ограничивала их. В соответствии с этим кормилица должна была воспитывать его, делать из него юношу, она не запугивала его ни розгой, ни мрачными привидениями, не прельщала его кисло-сладким пряником мистики, от которого портится желудок, не пыталась удержать его в помочах слов, которые должны были бы оставить его в вечном несовершенном состоянии, — наоборот, она поила его чистым, здоровым молоком чистых чувств и прекрасной, свободной фантазии, она украшала своими цветами непроницаемое покрывало, которое скрывает божество от наших взоров, а за ним поселила с помощью волшебства живые образы, на которые он перенес великие идеи своего собственного сердца, исполненного высоких и прекрасных чувств. Подобно тому как кормилица у греков была другом дома и оставалась другом своего воспитанника на всю жизнь, так же оставалась она его подругой, которой он, неиспорченный, приносит свою вольную благодарность, свою свободную любовь; он делит с ней, благосклонной подругой, свою радость, свою игру, а она не мешает ему в его радости — она сохраняет при этом свое достоинство, и его собственная совесть карает его за пренебрежительное отношение к ней — она сохраняет навсегда свою власть, так как последняя опирается на любовь, на благодарность, на благороднейшие чувства своего питомца; она украшает себя, повинуется настроению его фантазии, но она и учит его почитать железную необходимость, учит его безропотно следовать этой неотвратимой судьбе.

Мы знаем этого гения только понаслышке, только некоторые черты его дозволено нам созерцать с любовью и удивлением в сохранившихся копиях его образа — черты, которые пробуждают лишь болезненную тоску по оригиналу. Это прекрасный юноша, которого мы тоже любим в его беззаботности, окруженный целой свитой граций, — с ними он впитывал из каждого цветка целительное дыхание природы, душу, которую они вдохнули, с ними он оставил землю <sup>17</sup>.

Помимо устного поучения, у которого всегда лишь очень ограниченная сфера воздействия, которое простирается лишь на тех, кого природа прежде всего связала с нами, существует единственный вид воздействия в широких масштабах — воздействие через книги; в этом случае наставник встает на незримую кафедру перед всей публикой и, поскольку он невидим, решается воссоздать здесь перед слушателями самую кричащую картину их моральной испорченности и так беспощадно обходится с публикой, говорит в таком тоне, какой он в ином случае едва ли стал бы применять по отношению к самому презренному человеку; не часто увидишь, чтобы моралист, если это совершалось не ради службы, хотя бы половину того, что он говорит в лицо высококочтимой публике в целом (не провоцируемый никем, а только влекомый внутренним чувством призвания улучшить людей), осмелился когда-нибудь высказать определенному кругу людей, из которого он (если его картины не являются, как бывает, чистой болтовней, а его средство против этого — простым теоретическим шарлатанством) абстрагировал для этого определенные черты. Поскольку способ поучения должен приравниваться к тому духу, тону, благодаря которому оно может быть принято народом, то мы находим здесь и различные манеры. Сократ, который жил в республиканском государстве, где каждый гражданин свободно разговаривал с другим, а изысканная вежливость в обращении была в ходу даже у толпы, в ее почти самых нижних слоях, наставлял людей в беседе самым непринужденным образом; без дидактического тона, без всякого намека на желание поучать приступал он к обычной беседе и незаметнейшим путем подводил к уроку, который он давал как бы сам себе и который не мог бы показаться навязчивым даже Диогтиму<sup>18</sup>. Иудеи же, напротив, были приучены своими предками, своими национальными поэтами, к более грубому обращению; уже в синагогах уши их были приучены к моральным проповедям и прямому тону

поучения, а благодаря книжникам и фари́сеям они были привычны к более грубому способу ниспровержения противников в стычках и поэтому обращение к ним того, кто не был ни фари́сеем, ни садду́кеем, такое обращение, как «Вы, змеи и змеиное отродье», звучало не так резко, как звучало бы оно для ушей греков.

Следовало бы полагать, что человек даже при самых благоприятных обстоятельствах и самом превосходном образовании может всегда, всю свою жизнь продолжать успешно трудиться над своим интеллектуальным и моральным совершенствованием, что каждый, кто беспристрастен и к тому же деятелен в многообразных отношениях с другими людьми, в которые он поставлен отчасти случайно, отчасти своей собственной деятельностью, всегда еще может чему-то учиться, что человек едва ли может прийти к завершению или думать, что пришел, — тем более при запутанных отношениях нашей гражданской жизни, где даже самая несомненная честность будет находиться часто в двусмысленном положении, в столкновении обязанностей — например, в столкновении справедливости и сострадания в единичном со всеобщими принципами справедливости или по крайней мере принципами утраченных прав — и где благоразумие должно быть осторожно по обязанности, тем более если оно не заботится о своих собственных делах, а более или менее помогает росту благосостояния множества людей. Поэтому также иной добросовестный Нафанаил, чтобы не насиловать свое сердце или избавить себя от неприятных ситуаций, предпочитал уж вовсе освободить себя от этих отношений, поскольку, чем разнообразнее отношения, тем разнообразнее обязанности, и, таким образом, чем проще первые, тем проще и последние; и обычно стоит больших усилий выйти из них, чем совсем не вступать в них, ибо вообще легче быть лишенным иных потребностей, нежели отказаться от них добровольно. Таков Диоген, который в силу своего характера мог довольствоваться пригоршней воды и куском черствого хлеба и честолюбие которого *было уже удовлетворено* не пурпуром, а рваным плащом, который, таким образом, ни как друг, ни как

отец, ни в силу занятий не имел перед другими никаких значительных обязанностей, кроме таких, как «не бить» и «не красть», к чему у него не могло быть соблазна, который без особого труда мог позволить себе быть совершенным моральным человеком и даже получить своего рода право называться великим человеком, — у него был досуг воздействовать и на других.

Среди римлян не выдвинулся ни Христос, ни Сократ; ни одного римлянина в период могущества, когда только одна добродетель имела значение, нельзя было смутить тем, что он не знает, что должен делать, — в Риме были только римляне, но не было людей, в Греции, напротив, ценились *studia humanitatis* — человеческие чувства, человеческие склонности и искусства; было много отклонений от естества, которые легко могли прийти в голову Сократу и прочим мудрецам, сводясь к природе, отступление же от римской природы было государственным преступлением. Там, где люди установили только одну линию совершенства и добродетель связали с чем-то объективным, служа чему даже страсти могли стать добродетелями, легче оценить, что приближается к совершенству, а что от него отклоняется, нежели там, где имеет место высший интерес, и в скоплении многообразных сталкивающихся обязанностей или в укреплении человеческих наклонностей и обязанностей несравнимо труднее распознать добродетель и границу, до которой природа должна покоряться разуму.

У Христа было двенадцать апостолов; число «двенадцать» было числом постоянным — учеников много, но апостолами были те, которые принадлежали к его близкому окружению, которые отказались от всех других отношений и находились только в его обществе, пользовались только его уроками, стремились во всем стать как можно более похожими на него, старались постепенно, через обучение и на его живом примере, овладеть его духом; и как по-иудейски были они ограничены, сколь житейскими были вначале их ожидания, надежды, идеи, как долго не могли они оторвать свой взгляд и свое сердце от иудейского Мессии и основа-

теля царства, где стали бы раздаваться должности генералов и гофмаршалов, и от корыстолюбия, когда думаешь прежде всего о себе, которое не могли они возвысить, простереть до простого честолюбия, [удовлетворяющегося тем, чтобы] стать согражданином царства божия. Христу было недостаточно иметь учеников, таких, как Нафанаил, Иосиф Аримафийский, Никодим и т. п., т. е. обмениваться мыслями с мужами духа и превосходного сердца, бросать в их душу новые идеи. Новые искры, которые, если материал, где они неудачно упали, не содержит горючего вещества, все равно уже потеряны. Такие мужи, отчасти счастливые и довольные, вечерами в кругу своей семьи, полезно активные в сфере своей деятельности, отчасти знакомые с миром и его предрассудками и потому терпимые в отношении их, хотя и строгие к себе, были бы невосприимчивы к требованию стать своего рода скитальцами. Христос говорит: царство божие обнаруживается не во внешних жестах; по-видимому, таким образом его ученики поняли его наказ: «Идите, научите все народы, крестя их», превратно сочтя это крещение, внешний знак, всеобще необходимым, и это тем более вредно что различие через внешние признаки влечет за собой сектантство; отдаление от других, — вообще различие в моральном ослабляется в результате того, что ему придается еще какое-то другое различие, а вместе с тем оно утрачивает что-то от своего света. Христос говорит: «Кто тут верит»<sup>19</sup>, но это не значит прямо: «Кто в меня верит», поскольку, однако, можно понимать так, а можно и иначе, то апостолы поняли это таким образом, и «шиболетом» их сторонников, граждан божьего царства были не добродетель, справедливость, а Христос, крещение и т. д. Не будь их Христос таким добрым человеком, см. «Натан»...<sup>20</sup>

У Сократа были всякие ученики или, вернее, не было ни одного — он был лишь учителем, наставником, каким является для любого каждый выделяющийся примером своей справедливости и отличным разумом человек. И пусть никто не слышал его проповедей с кафедры или с горы — да и как вообще могло бы при-

ти Сократу в голову проповедовать в Греции! — он стремился поучать людей, просвещать их в том, что должно было пробуждать их высший интерес, воодушевлять на это; он не получал платы за свою мудрость, он не выгонял из дома в угоду ей свою нелюбезную жену, словно она ему совсем не нужна, но без всякого внутреннего сопротивления он, несмотря на свою мудрость, оставался мужем, оставался отцом.

Число его более близких друзей было неопределенным: числа 13, 14 и т. д. были ему столь же желанны, как и предыдущие, если только он был близок [этим друзьям] духом и сердцем. Они были его друзьями, его учениками, однако так, что каждый оставался для себя тем, чем он был, так что Сократ не жил в них, не был главою, из которой они как члены тела получали жизненные соки. Он не имел ни модели, в которую хотел бы отлить их характеры, ни правила, руководствуясь которым мог бы выравнять их различия, — для этого в его распоряжении были лишь ограниченные умы, в которых он принимал, правда, участие, но которые как раз не стали его ближайшими друзьями; для него дело было не в том, чтобы создать себе, для своей личной охраны, небольшой корпус телохранителей, одетых в униформу, делающих одинаковые артикулы, произносящих одинаковые лозунги, которые все вместе обладали бы *одним* духом и в таком случае всегда носили бы его имя; поэтому были сократики, но никогда не было никаких корпораций, которые подобно каменщикам можно было бы отличить по молоткам и кельмам. Каждый ученик сам по себе был мастером; многие основали свои собственные школы, многие были крупными военачальниками, государственными людьми, всякого рода героями — не одинакового покроя, а каждый в своей собственной области, — не героями в мученичестве и страдании, а в действии и жизни. Кроме того, тот, кто был рыбаком, оставался рыбаком, никто не должен был покидать свой дом и двор. Сократ начинал, [беседуя] с каждым, с его ремесла и таким образом вел его от руки, от дела, где каждый, с кем он беседовал, был как дома, к духу — он извлекал из души человека понятия, которые лежали там и ни в чем так

не нуждались, как в акушере; он никому не давал повода сказать: как! Разве это не сын Софрониска? Откуда у него такие познания, что он осмеливается учить нас? Он никогда не оскорблял похвальбой о своей важности или таинственными, высокопарными выражениями, которые могут импонировать только невеждам и легковерам, — среди греков он стал бы предметом насмешки.

Перед своей смертью — он умер как грек, пожертвовав Эскулапу петуха, а не как Мопертюи в рясе капуцина, не как причащенный — он беседовал со своими учениками о бессмертии души, как грек обращался к разуму и фантазии, говорил очень живо, являя им на это надежду всем своим существом, очень ясно и убежденно; предпосылки к этому постулату собрали они на протяжении всей своей жизни. Эту надежду (а то, что нам может быть дано столь много, что она должна стать достоверностью, это противоречит человеческой природе и способностям человеческого духа) он оживлял до такой степени, до которой может доходить человеческий дух, забывая о своих смертных попутчиках, так что, если бы даже он воскрес потом из могилы (если бы так должно было быть) и известил нас о правосудной, — чтобы позволить нам услышать больше, чем сказано в скрижалях Моисея и в прорицаниях пророков, которые у нас в сердце, хотя бы даже это было противно законам человеческой природы<sup>21</sup>, — у него не было бы нужды укреплять эту надежду посредством своего воскресения; только в убогих душах, в которых не живут предпосылки для нее, т. е. идея добродетели и высшего блага, и надежда на бессмертие слаба. Он не оставил после себя никаких масонских знаков, никакого распоряжения о том, чтобы возвещать его имя, никакого метода, как приступить к душе и влить в нее моральность, — *agathon*<sup>22</sup> рожден с нами, это — нечто такое, что *не может* вкладываться в душу проповедью. Он не указывает никакого окольного пути учиться умению приносить добро (пути, который шел бы через благоухающие, дурманящие цветы), пути, который должен был бы идти через него, где он был бы центром, так сказать столицей, до которой добираются



с трудом, увозя из нее домой милостиво данные средства, которые могут приносить проценты, никакого *ordinem salutis*<sup>23</sup>, где каждый характер, каждое сословие, каждый возраст, каждый темперамент должен был бы пройти через некоторые этапы — страдания — определенные состояния души; напротив, он сейчас же стучался прямо в нужные ворота, без посредника, только приводил человека к самому себе, где тот не должен был готовить жилище для совершенно чужого гостя — духа, который прибыл из далекой страны, а должен только навести порядок в помещении и принести свет для своего старого хозяина дома, которого толпа сви-стунов вынудила подняться в старую маленькую мансарду...